**История одного солдатского мешка**

Генрих Белль

Перевод с немецкого И. Горкина

В сентябре 1914 года в одну из красных кирпичных казарм города Бромберга[[1]](#footnote-1) явился молодой человек по имени Йозеф Стобский. Хотя по документам он числился германским подданным, языком своей официальной родины он владел слабо. Стобскому было двадцать два года, по профессии он был часовщик и «по причине общей слабости здоровья» воинской повинности раньше не отбывал. Он прибыл из сонного польского местечка под названием Нестройно; там в задней каморке отцовской халупы он день-деньской гравировал рисунки и надписи — да какие изящные! — на браслетах из накладного золота, чинил крестьянам часы, между делом задавал свинье корм, доил корову, а по вечерам, когда на Нестройно опускались сумерки, он, вместо того чтобы идти в трактир или на танцульку, трудился над каким-то своим изобретением, перебирал пальцами, измазанными машинным маслом, многочисленные колесики и скручивал одну за другой сигареты, почти все догоравшие на краю стола. Мать его тем временем подсчитывала снесенные курами яйца и жаловалась на большой расход керосина.

И вот он явился со своей картонкой в красные кирпичные казармы города Бромберга и стал изучать немецкий язык. Скоро он освоил его в объеме словаря воинского устава, приказов и инструкций по сборке оружия. Сверх того он овладел ремеслом пехотинца. На уроках «словесности» он произносил немецкие слова с польским акцентом, ругался по-польски, молился по-польски. По вечерам, открыв темно-коричневый шкафчик, меланхолически разглядывал хранившийся там небольшой сверток с промасленными колесиками и отправлялся в город — залить водкой сердечную тоску.

Стобский глотал пыль учебного поля, писал открытки матери, получал посылки с салом, уклонялся по воскресеньям от казенной обедни и тайно ускользал в один из польских костелов, где, распростершись ниц на каменных плитах, мог вволю поплакать и помолиться — как ни мало вязались такие сантименты с обликом человека в форме прусского пехотинца.

В ноябре 1914 года его нашли достаточно подготовленным, чтобы погнать через всю Германию во Фландрию. Он-де бросил достаточно ручных гранат в песок бромбергского полигона и сделал достаточно выстрелов по мишеням на стрельбище. И вот Стобский отослал матери свой сверточек с промасленными колесиками, сопроводил посылку открыткой, погрузился в вагон для скота и начал путешествие через всю страну, официально значившуюся его родиной; язык ее он уже освоил настолько, чтобы понимать команды и приказы. И вот розовощекие немецкие девушки поят его кофе, суют цветы в дуло его винтовки, наделяют сигаретами; однажды какая-то престарелая дама подарила его даже поцелуем, а какой-то господин в пенсне, перевесившись через балюстраду перрона, очень отчетливо бросил ему несколько латинских слов, из которых Стобский разобрал только одно — «тандем»[[2]](#footnote-2). В поисках разъяснения он обратился к своему непосредственному начальнику — ефрейтору Хабке. Тот пробормотал что-то невразумительное насчет «велосипедов», уклонившись от иной, более подробной информации по данному вопросу. Так, не успевая опомниться, принимая и раздавая поцелуи, щедро одаряемый цветами, шоколадом и сигаретами, Стобский переправился через Одер, Эльбу, Рейн и спустя десяток дней, темной ночью, выгрузился на каком-то грязном бельгийском вокзале. Его рота собралась во дворе ближайшего крестьянского хутора, и капитан в потемках что-то прокричал; Стобский так и не понял, что именно. Потом появился суп с лапшой и кусочками мяса, который в тускло освещенной риге быстро перекочевал из походной кухни в котелки, а затем с великой поспешностью был вычерпан солдатскими ложками. Унтер-офицер Пиллиг еще раз обошел посты, провел беглую перекличку, и через десять минут рота шагала в потемках на запад. Там, в этом западном небе, бушевали знаменитые громовые раскаты и время от времени вспыхивали багровые зарницы. Начался дождь; рота сошла с мощеной дороги, почти триста пар ног зашлепали по грязи проселка. Все ближе подступало это подобие громовых раскатов, голоса офицеров и унтер-офицеров становились все более хриплыми, в них появились какие-то неприятные нотки. У Стобского разболелись ноги, очень разболелись, да и устал он, очень устал. И все же он тащился вперед, мимо темных деревень, по грязным дорогам, а громовые раскаты с каждым шагом казались все более несносными, все меньше походили на настоящую грозу. Неожиданно голоса офицеров и унтер-офицеров сделались на удивление мягкими, почти нежными, а слева и справа послышался топот бесчисленных ног, шагающих по невидимым в потемках дорогам и проселкам.

Вдруг Стобский понял, что его рота находится в самой гуще этого подобия грозы, так как грохот слышался уже и за спиной, а багровые зарницы вспыхивали со всех сторон; и когда раздалась команда «Рассредоточиться!», Стобский бросился вправо от дороги следом за ефрейтором Хабке. Он слышал крики, взрывы, выстрелы, и голоса офицеров и унтер-офицеров опять были хриплыми. Ноги у Стобского не переставали болеть, они очень, очень болели, и, предоставив ефрейтора самому себе, он опустился на сырой луг, пахнувший коровьим пометом, и в голове у него мелькнула мысль, которая в переводе с польского соответствовала бы известному изречению Геца фон Берлихингена. Он снял стальную каску, положил оружие возле себя на траву, ослабил ремни на выкладке, вспомнил свои любимые промасленные колесики и заснул под этот отчаянный грохот войны. Ему снилась родная мать — полька, она пекла в теплой кухне блины, и так странно ему было видеть во сне, что все блины, как только начинали румяниться, с треском лопались и на сковороде от них ничего не оставалось. Матушка все быстрее и быстрее выливала черпаком на сковороду тесто, маленькие блины все сливались в один большой и лопались, только-только зарумянившись. Матушка вдруг как обозлится — Стобский даже улыбнулся во сне, ведь наяву она никогда не сердилась по-настоящему, — да как опрокинет все содержимое миски на сковороду! И он видит огромный, пухлый желтый блин во всю сковороду, блин растет, поджаривается, раздувается. Матушка, удовлетворенно ухмыляясь, берет длинный кухонный нож с широким лезвием, подводит его под блин, и вдруг бац! — страшный взрыв... И Стобский, так и не успев проснуться, приказал долго жить.

Через неделю в одном из английских окопов, в четырехстах метрах от того места, где прямым попаданием был убит Стобский, однополчане нашли его солдатский мешок с обрывком наплечного ремня — все, что осталось от Стобского на бренной земле. А найдя в английском окопе мешок Стобского, в котором оказались кусок копченой домашней колбасы — неприкосновенный запас — и польский молитвенник, решили, что Стобский проявил невероятный героизм в день атаки, ворвался за линию расположения английских войск и там был убит. Вот и получила польская мать в Нестройно послание от капитана Хуммеля, сообщавшего о великой отваге, проявленной рядовым Стобским. Она попросила своего священника перевести ей письмо, поплакала, сложила письмо вчетверо, спрятала его между простынями и заказала три заупокойные обедни.

Но очень скоро англичане отбили свои окопы, и мешок Стобского попал в руки английского солдата Уилкинса Грейхеда. Тот съел копченую колбасу, выбросил, недоуменно покачивая головой, польский молитвенник во фламандскую грязь, скатал солдатский мешок и присоединил его к своей выкладке. Через два дня Грейхед лишился левой ноги, был отправлен на излечение в Лондон, спустя девять месяцев он демобилизовался из королевской армии, получил небольшую пенсию и, так как не мог теперь вернуться к своей почетной профессии водителя трамвая, поступил швейцаром в один из лондонских банков.

Как известно, доходы швейцара не бог весть как велики, а Уилкинс к тому же принес с собой с войны два порока: он нещадно пил и курил. Средств, разумеется, на такую жизнь ему не хватало, и он начал распродавать вещи, которые казались ему ненужными, а ненужным ему казалось почти все. Он продал мебель и пропил деньги, спустил все свое носильное платье, кроме одного-единственного истрепанного костюма, а когда уже нечего было продавать, вдруг вспомнил о грязном узле, который валялся в подвале со дня демобилизации. И тогда он сбыл с рук незаконно присвоенный и изрядно заржавевший армейский пистолет, плащ-палатку, пару ботинок и солдатский мешок Стобского. (В заключение два слова о судьбе Уилкинса Грейхеда: он окончательно опустился. Безнадежно пристрастившись к алкоголю, он потерял честь и службу, превратился в уголовного преступника, несмотря на потерянную и похороненную в земле Фландрии ногу, попал в тюрьму и, продажный до мозга костей, влачил до конца дней своих жалкое существование тюремного доносчика.)

А мешок Стобского преспокойно провалялся в мрачном подземелье торговца старьем, где-то в Сохо, целых десять лет — до тысяча девятьсот двадцать шестого года; летом этого года старьевщик Луиджи Банолло чрезвычайно внимательно прочитал циркуляр некой фирмы под названием «Хандсапперс лимитед», которая так подчеркивала свою крайнюю заинтересованность в любых военных материалах, что он даже руки потер от удовольствия. Вместе с сыном он тщательно обследовал все наличные запасы и в итоге насчитал 27 армейских пистолетов, 58 котелков, свыше 100 плащ-палаток, 35 ранцев, 18 солдатских мешков и 28 пар ботинок — все это образцов различных европейских армий. За все чохом Банолло получил чек на 18 фунтов стерлингов и 20 пенсов, выписанный на один из солиднейших лондонских банков. Банолло нажил на этой сделке, грубо говоря, 500 процентов. Юный отпрыск Банолло больше всего обрадовался ликвидации ботинок, для него это было прямо-таки неописуемым облегчением, так как в его обязанности входило разминать эту обувь, смазывать ее — словом, радеть об ее сохранности. О том, как тяжела эта задача, может судить каждый, кому хоть когда-нибудь приходилось заботиться о своей собственной паре обуви.

Фирма «Хандсапперс лимитед» в свою очередь сбыла весь хлам, который ей продал Банолло, с надбавкой в восемьсот пятьдесят процентов (таков был обычный процент ее прибылей), правительству одной из южноамериканских стран, которое всего за несколько недель до этого неожиданно спохватилось, что соседнее государство угрожает ему, и решило предупредить возможность нападения. Что же касается солдатского мешка рядового Стобского, совершившего переезд в Южную Америку в чреве дрянного парохода (фирма «Хандсапперс» пользовалась только дрянными пароходами), то он попал в руки некоего немца-наемника по имени Райнхольд фон Адамс, который за мзду в сорок пять песет согласился считать дело южноамериканской страны своим делом. Не успел еще фон Адамс пропить и двенадцати из сорока пяти песет, как от него всерьез потребовали выполнить взятые на себя обязательства, и он с кличем «Победа и кошелек!» выступил под командой генерала Лаланго к границам соседнего государства. Но немного спустя пуля прострелила фон Адамсу голову, и мешок Стобского попал в руки опять-таки немца, Вильгельма Хабке, который всего за каких-нибудь тридцать пять песет согласился дело соседнего южноамериканского государства считать своим делом. Хабке присвоил солдатский мешок Стобского, найденные в мешке краюху хлеба, пол-луковицы и провонявшие луком бумажные денежные знаки — не израсходованные покойным Адамсом тридцать три песеты. Не слишком обремененный этическими и эстетическими предрассудками, он ко всему этому присоединил собственные сбережения и, как только его произвели в капралы победоносной национальной армии, потребовал аванса еще в тридцать песет. Рассмотрев как следует мешок, он обнаружил отпечатанный на нем черной штемпельной краской шифр «VII(2)II» и вспомнил своего дядю Иоахима Хабке, который служил в том же полку и пал смертью храбрых. Тут Вильгельмом овладела сильная тоска по родине. Он подал в отставку, получил в подарок портрет генерала Гублянеса и окольными путями добрался до Берлина; переезжая на трамвае с вокзала в Шпандау, он не подозревал, разумеется, что едет мимо тех самых цейхгаузов, где мешок, принадлежавший некогда Стобскому, пролежал в 1914 году целую неделю, пока не был отправлен в Бромберг.

Вильгельм Хабке был с распростертыми объятиями встречен родителями; он вернулся к своей исконной профессии экспедитора, но вскоре оказалось, что он склонен к политическим заблуждениям. В 1929 году он вступил в партию, присвоившую себе грязно-коричневую форму, снял со стены солдатский мешок, который повесил было над кроватью рядом с портретом генерала Гублянеса, и нашел мешку практическое применение: отправляясь по воскресеньям на учебное поле, он надевал его через плечо в дополнение к своей грязно-коричневой форме. На учениях Хабке блистал военными познаниями; малость приврав, он выдал себя за батальонного командира той самой южноамериканской армии, в рядах которой он воевал, и самым подробным образом описывал, где, как и почему он пускал в ход тяжелое оружие. Вильгельм начисто запамятовал, что, в сущности, он всего-навсего прострелил голову бедняге Адамсу, стащил его песеты и присвоил его солдатский мешок. В 1929 году Хабке женился, а в 1930-м жена его разрешилась от бремени младенцем, названным Вальтером. Вальтер рос хорошо, хотя первые два года его существования проходили в рамках пособия по безработице, которое получал его отец; но уже в четырехлетнем возрасте он каждый день получал утром кекс, сгущенное молоко и апельсины, а как только ему исполнилось семь лет, отец вручил ему застиранный солдатский мешок и сказал:

— Смотри береги эту реликвию как зеницу ока, она принадлежала твоему двоюродному дедушке — рядовому Иоахиму Хабке, дослужившемуся до капитана; он вышел живым из восемнадцати боев, а в 1918 году его прикончили красные бунтовщики. Мне этот мешок послужил верой и правдой во время южноамериканской войны, я мог тогда стать генералом, но мои услуги понадобились нашей родине, и я дослужился всего лишь до подполковника.

Вальтер берег мешок как зеницу ока. С 1936 по 1944 год он надевал его, когда облачался в свою грязно-коричневую форму, часто вспоминал о героических делах двоюродного дедушки, а также своего родного отца; ночуя где-нибудь в сарае, он осторожно подкладывал мешок под голову. В мешке он хранил хлеб, плавленый сыр, масло и песенник; он чистил мешок щеткой, стирал его и радовался, что желтоватый цвет все больше и больше переходит в приятный белесый тон. Ему и не снилось, что на самом деле легендарный и героический двоюродный дедушка, в чине ефрейтора, отдал богу душу на глинистых полях Фландрии, неподалеку от того места, где рядовой Стобский был убит прямым попаданием.

Вальтеру Хабке исполнилось пятнадцать лет, он усердно штудировал в шпандауской гимназии английский язык, математику и латынь, чтил, как святыню, свой солдатский мешок и верил в героев, пока ему самому не пришлось побывать в их шкуре. Родитель его уже давно ушел в поход на Польшу, чтобы как-нибудь и где-нибудь навести порядок, а вскоре после того, как он, негодуя, вернулся из похода и, покуривая сигареты и брюзжа что-то насчет «предательства», шагал взад и вперед по узкой гостиной шпандауской квартиры, — вскоре после этого Вальтер Хабке поневоле сам оказался в числе героев.

В одну из мартовских ночей 1945 года Вальтер лежал за околицей померанского села, вытянувшись у пулемета, и вслушивался в мрачные громовые раскаты, точь-в-точь такие же, как в кинофильмах про войну. Нажимая на спуск пулемета, он дырявил ночную тьму, и его неудержимо тянуло всплакнуть. Ему слышались голоса в ночи, незнакомые голоса, и он стрелял и стрелял, сменил ленту, опять начал стрелять, и когда расстрелял вторую ленту, ему вдруг показалось, что вокруг очень тихо. Он остался один. Он поднялся, поправил поясной ремень, проверил, прочно ли закреплен его солдатский мешок, и пошел прямо в ночь, взяв направление на запад. И тут вдруг он занялся тем, что крайне гибельно отзывается на героизме: он принялся размышлять. И вспомнилась ему узкая, но очень уютная гостиная — он даже не подозревал, что думает о том, чего уже нет на свете. Банолло-младший, который не раз держал в руках вальтеровский солдатский мешок, достиг тем временем сорока лет; покружив однажды на своем бомбардировщике над Шпандау, он открыл люк и разрушил узкую, но уютную гостиную, и папаша Вальтера шагал теперь взад и вперед по подвалу соседнего дома, покуривал сигареты, брюзжал что-то насчет «предательства» и как-то не совсем хорошо чувствовал себя, вспоминая замечательные порядки, которые он насаждал в Польше.

В эту ночь Вальтер шел в раздумье все дальше и дальше на запад, набрел наконец на покинутую ригу, уселся, перекинул на живот свой мешок, развязал его, поел солдатского хлеба с маргарином, пару конфет, и тут его застали русские солдаты — спящего, с заплаканным лицом пятнадцатилетнего мальчугана, с расстрелянными пулеметными лентами вокруг шеи, с чуть кисловатым от конфет дыханием. Они поставили его в колонну, и Вальтер Хабке поплелся на восток. Шпандау ему уже не суждено было увидеть.

Тем временем селение Нестройно побывало в немецких руках, перешло к полякам, снова стало немецким, опять было занято поляками, и матери Стобского исполнилось семьдесят пять лет. Письмо капитана Хуммеля все еще хранилось в бельевом шкафу, в котором давно уже не было никакого белья. Картофель — вот что держала в нем матушка Стобская. За картошкой, в глубине, висел большой окорок, в фаянсовой миске лежали яйца, еще глубже, в темном углу, стоял бидон с растительным маслом. Под кроватью сложены были дрова, а на стене, перед иконой ченстоховской божьей матери, красноватым светом теплилась лампадка. В хлеве за домом похрюкивала тощая свинья, коровы уже давно не было, и дом заполняли семеро шумных ребятишек семейства Вольняков, у которых бомбой разрушило дом в Варшаве. А по улице то и дело тянулись колонны пленных с изъязвленными ногами и несчастными лицами. Они проходили тут почти ежедневно. Сначала Вольняк выходил за ворота, ругался, иной раз брал в руки камень и даже запускал им в солдат, но вскоре он засел в своей каморке, выходившей на задний двор, в той самой каморке, где некогда Йозеф Стобский занимался ремонтом часов, гравировал рисунки и надписи на браслетах, а вечерами возился со своими промасленными колесиками.

В 1939 году одни польские пленные проходили здесь на восток, другие — на запад; позже тут проходили в западном направлении русские пленные; а теперь уже продолжительное время тянулись на восток германские военнопленные. И хотя ночи еще стояли холодные и темные, а жители Нестройно спали крепко, они просыпались, когда с улицы доносился гул тяжелых шагов.

По утрам мамаша Стобская поднималась раньше всех в Нестронно. Набросив пальто на зеленоватую ночную рубашку, она разжигала огонь в печи, наливала масло в лампадку перед иконой божьей матери, выносила золу в мусорную яму, задавала корм тощей свинье и возвращалась в свои комнаты, чтоб приодеться к ранней обедне. Однажды утром, в апреле 1945 года, она увидела у порога своего дома светловолосого юношу — он лежал, судорожно сжимая в руках сильно выцветший солдатский мешок. Матушка Стобская даже не вскрикнула. Положив на подоконник черную вязаную сумочку, в которой она хранила польский молитвенник, носовой платок и несколько зернышек чебреца, она нагнулась над молодым человеком и сразу увидела, что он мертв. Даже теперь она не закричала. Рассвет еще не наступил, лишь сквозь церковные окна едва брезжила желтизна, и матушка Стобская осторожно вынула из рук покойника солдатский мешок, тот самый, в котором некогда хранились молитвенник ее сына и кусок домашней копченой колбасы, изготовленной из мяса ее собственного поросенка, втащила юношу через порог на каменный пол сеней, пошла к себе в комнату, захватив с собой невзначай солдатский мешок, бросила его на пол и стала рыться в пачке грязных, почти обесцененных бумажных злотых. Затем она пошла в деревню и разбудила могильщика.

Позднее, когда юношу похоронили, она обнаружила у себя на столе мешок, подержала его в руках, помедлила, а потом достала молоток и два гвоздя, вбила гвозди в стенку, повесила на них мешок и решила хранить в нем свои запасы лука.

Если бы она чуть пошире раскрыла мешок и до конца отбросила закрывающий его клапан, она обнаружила бы под ним тот же отпечатанный штемпельной краской шифр, какой обозначен был и на служебном конверте капитана Хуммеля.

Но этого она так никогда и не сделала.

1. Ныне г. Быдгощ (Польша). [↑](#footnote-ref-1)
2. Наконец (лат.). [↑](#footnote-ref-2)